

Б.Ф.Егоров

## О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ С.В.ПЕТРОВА

Рассматривается необычный жизненный путь и столь же необычное и многогранное творчество Сергея Владимировича Петрова. Погруженный в литературу и искусство, в абстрактные философские построения, человек универсальных знаний, он был не чужд обыденной жизни во всех ее проявлениях. Об этом говорят его стихи, часто очень эмоциональные, где проявились глубокие, сильные чувства столь же глубокие размышления над философскими понятиями. Искусство-озорство, искусство-игра — самые подходящие понятия для живого и вдумчивого поэта, любившего парадоксы и перевертыши. С.В.Петров был и талантливым переводчиком со многих европейских языков, работая не с подстрочниками, а с подлинниками. Творчество Петрова остается до конца не исследованным.

**Ключевые слова:** Сергей Владимирович Петров, стихи, природа, мир, история, переводческая деятельность

Один из самых выдающихся поэтов XX века Сергей Владимирович Петров (1911—1988) при жизни был почти неизвестен. Ведь он почти не печатал своих произведений. Главная причина печатного молчания — многолетние беды от Советской власти, но еще и его большая пассивность, частое нежелание ратовать за публикации. И еще один аспект: поэт писал удивительно свободно, не оглядываясь на цирлих-манирлих редакторов; в психике его была (развилась?) злость, и иногда он отпускал весьма злые пассажи, не стесняясь в выражениях, а иногда и шутил не стесняясь. Стилистически и лексически он был широко разнообразен, погружаясь то в философские раздумья, то в грубое народное просторечие, не боясь и, видимо, не стыдясь неприличия (например, нарочито сочиняя абсолютно нецензурную расхристанную вещь «Царь Горох, русская огородная рапсодия», 1976).

Личная память. В 1979 г. в серии «Литературные памятники» вышел в свет в переводе Петрова с древнеисландского замечательный том «Поэзия скальдов». Глава серии Д.С.Лихачев был очень доволен изданием и надеялся на дальнейшее сотрудничество. И вскоре Петров предложил интересную книгу: он перевел музыкально-поэтические труды известного менестреля XVIII века К.М.Бельмана, своеобразного шведского Высоцкого, только еще более разухабистого. И Петров сохранил эту разухабистость, вместе со всей лексикой. Например, у него рифмовались «раскладушка» и «поблядушка». Как и предполагалось, Дмитрий Сергеевич решительно отверг этот перевод, и много позднее, в 2006 г., в «Литературных памятниках» Бельман был издан в переводе Игнатия Ивановского. А вдова Петрова отдала потом его перевод в издательство Чернышева (Петровский Бельман вышел в 1995 г.). Вскоре вышел в свет еще один, очень давний перевод Петрова — «Часослов» Рильке (СПб., «Азбука», 1998).

И еще вдове в XX веке удалось издать «Избранные стихотворения» Петрова [1].

Зато XXI век отличился явным вниманием к забытому поэту. Издательство «Водолей» (Москва) одарило нас большим трехтомником под общим заглавием «Собрание стихотворений». Первые тома еще названы «Книга 1» и «Книга 2», и вышли они в 2008 году. А третий, как бы дополнительный, назван «Неизданное» и выпущен в 2011 году, к 100-летию поэта. Издание подготовила вдова Александра Александровна при участии научного редактора книг В.Резвого. А живое послесловие во 2-м томе написал Е.Витковский [2-3]. Далее при цитировании стихов будут указываться название (но если цитируется начало неозаглавленного стихотворения, то название не дается), даты (большинство произведений Петрова имеет две даты: поэт потом работал над текстом) и место публикации: цифры тома и страницы.

Многое еще остается неизданным, но все-таки теперь читатель и исследователь имеют солидную базу для восприятия творчества великого поэта. А публикация Витковским краткой автобиографии Петрова и еще появившиеся в Интернете интервью и воспоминания вдовы А.А.Петровой дают нам некоторое представление и о его драматическом жизненном пути.

Родился Сергей Владимирович Петров в Казани, в 1911 году, в Благовещенье (по старому стилю 25 марта, по новому — 7 апреля). И дату, и христианский праздник С.В. очень чтит, и почти ежегодно, около полувека, в этот день писал в стихах как бы краткий отчет за год, и озаглавливал каждое такое стихотворение „Mir zur Feier“ («Мне к празднику»), взяв фразу у раннего Рильке.

Отец и дед его были хорошими врачами, а отец деда был простой крепостной мужик (впрочем, грамотный). Отец Владимир Петрович погиб на фронте Первой Мировой войны в 1916 г., но не от пули, а от тифа. Родители бабушки были поляк и немка, так что кровь С.В.а вобрала в себя мощный межнациональный комплекс.

Мама Сергея Владимировича — Варвара Арсеньевна Зинина — из богатой купеческой семьи. Ей удалось каким-то образом, пройдя сквозь советские обыски и аресты, сохранить родительские драгоценности, и она смогла с их помощью выжить в страшную ленинградскую блокаду 1941—1943 гг. И смогла прожить 92 года. После гибели мужа она вышла замуж за хорошего человека, адвоката, ставшего вторым отцом для С.В.а и его младшего брата Коли. Увы, отчиму не удалось избежать мясорубки сталинского террора, он вместе с Колей был расстрелян в 1939 г.

Сергея Владимировича судьба, в отличие от его близких, относительно хранила. Раннее детство и даже первые советские годы, проведенные в Казани, были очень счастливы. Интеллигентское воспитание дало ребенку знание иностранных языков, мама и тетушки постоянно водили в театр, женское окружение давало семилетнему познания, как он хвастался потом, в мехах, духах, хороших винах... В семье принципиально разрешали мальчику читать все, что он пожелает. В 14 лет С.В. влюблен в хорошенькую 10-летнюю соседку Веронику Тушнову, будущую известную поэтессу, и пишет ей настоящий мадригал.

В 1927 г. семья переезжает в Ленинград; С.В. то ли успел закончить среднюю школу в Казани, то ли последний год еще учился в Питере — тут данные расходятся, но точно известно, что в 1928 г. он смог поступить на романо-германское отделение университетского филфака. Именно «смог»: ведь тогда лишь дети рабочих и крестьян могли сразу после средней школы поступать в вуз, остальные должны были получить сперва два года рабочего стажа. Но выдающиеся медицинские родственники семьи, лечившие всю казанскую верхушку, смогли добыть записки высоких начальников, просивших питерское руководство принять в порядке исключения сына выдающегося казанского врача. Приняли!

Учился С.В. блестяще, закончил университет за 3 года (получил диплом в 1931 г.), попутно доведя количество своих иностранных языков до 12 (выучил, кроме главных, все скандинавские, польский, да еще увлекся буддизмом, следовательно, осваивал дальневосточные языки). К зрелому возрасту он дошел до цифры 18 (некоторые языки выучивал неожиданно: например, в долгие недели и месяцы тюрем и ссылок, благодаря сокамерникам, выучил латышский и удмурдский языки). Конечно, помимо старания, С.В. обладал еще гениальной памятью.

Его оставили в университете для подготовки диссертации и для преподавания немецкого языка. Но нормальная вузовская жизнь длилась недолго, в 1933 г. его арестовали (очевидно, слишком свободно изъяснялся на разные темы, да и сомнительные стихи, поди, распространял слишком свободно). Очень грустно писать, но приходится сказать: слава Богу, что арестовали так рано; если бы такое произошло после декабря 1934 г. (после убийства Кирова), то вряд ли все бы окончилось так несурово: Петрова отправили не в тюрьму, а в ссылку на 10 лет — в Сибирь! Выслали в Красноярский край, назначили в село с красивым названием Бирилюссы. Ссылный стал там школьным преподавателем немецкого языка!

Незадолго до большого террора 1937—1938 гг. про Петрова вспомнили соответствующие органы, в конце 1936 г. его привезли в Ачинск (это город близ Красноярска на главной сибирской магистрали), продержали в тюрьме несколько месяцев, но при отсутствии весомых преступлений выпустили. Он вернулся в Бирилюссы, но в школу его уже не пустили, он стал работать то лесником, то заготовителем сельхозпродуктов, то счетоводом в колхозе. Конечно, приходится вдвойне удивляться: и как умеет выживать талантливый человек, и как нарушался главный принцип социализма «от каждого по способностям»: выдающиеся способности Петрова совсем не интересовали властителей.

В 1943 г. окончился срок ссылки, С.В. смог поселиться в Ачинске, и ему теперь разрешили придти в школу, где он стал преподавать немецкий язык и астрономию (!), а еще в фельдшерско-акушерской школе латинский язык и гигиену. Из-за обилия приобретенных болезней С.В., видимо, не подлежал военному призыву, он никогда не был в армии.

В 1945 г. С.В. женился на красивой сибирячке, учившейся в той школе, где он преподавал латынь. Елена Ивановна Будаева. Расторопная, хозяйственная, любовно занимавшаяся жильем и огородом. К сожалению, совершенно не понимала творческой деятельности мужа, осуждала его равнодушие к быту. Появились на свет два сына. Один, Ярослав, увы, очень рано умер от дифтерии. Другого, Азария, мать воспитала в своем «бытовом» духе. После школы Азарий нигде не учился, пошел в рабочие, пил — и молодым утонул. Это было большим потрясением для С.В.а, который опубликовал потом в память сына блестящий перевод трагической поэмы исландского скальда X века Скаллаграмссона «Утрата сыновей». Азарий был женат, его дочь Екатерина, возможно, и сейчас проживает в Новгороде.

После смерти Сталина, в 1954 г., в связи с потеплением в стране, семья С.В.а смогла поселиться в Новгороде, где С.В. стал преподавать в пединституте немецкий язык. Начались частые поездки к матери в Ленинград и мечты о возвращении питерской жизни, но Елена Ивановна, привязанная к дому, решительно отказывалась. Отчуждение накапливалось давно; наконец, произошли разрыв и развод. К середине 1970-х гг. С.В. переехал в Ленинград, интенсивно занимаясь теорией и практикой художественного перевода.

В 1976 г. он познакомился с Александрой Александровной Безносовой, преподавательницей высшей математики в знаменитом питерском Политехническом институте. Ей, хорошо знающей английский, хотелось всерьез заняться переводческой деятельностью, потому и потянуло к выдающемуся переводчику. А его потянуло к ней... Возрастной интервал в 32 года не оказался помехой. Юрию Гагарину приписывают замечательную сентенцию: «Есть хорошее выражение любовь с первого взгляда», но еще лучше „любовь до последнего взгляда». С.В. и Александра Александровна ярко доказали применимость обоих выражений. 12 лет их семейной жизни протекли возвышенно и счастливо. Скончался С.В. 31 октября 1988 г.

Очень необычный жизненный путь С.В. нашел сложное отражение в его поэзии. Но она удивительно разнообразна! В ней сплелись и биография, и исконные психо-физиологические свойства, и универсальные познания и раздумья, и природный мир, и мир искусства... И внутри этого сплава — поразительные нестыковки и противоречия! Гармоничные детство и юность в хорошей семье — и потом тюрьмы и ссылки. Явная бытовая расхлябанность и леность (стихотворение «Я шел не выспавшись, растрепанный, босой...»),

1933—1941; 1, 33-35) — и, наоборот, собранная, скрупулезная, длительная работа над созданием сложного и виртуозного перевода; и совершенно необычная для непоседливого человека тяга к обстоятельной циклизации. Мог, например, сочинить громадный, в несколько десятков стихотворений, цикл о цветах: «Незабудки», «Гиацинты», «Бальзамин», и так далее — всего 28 цветов. Чуть поменьше — цикл о грибах — 14 видов. А цикл «Женские портреты» — самый грандиозный, 85 отдельных стихотворений — здесь и профессии («Певица», «Спортсменка»), и женские имена («Клавдия», «Валерия», «Тина», «Нора»), и метод художника («Новофаюмский», «В кубистической манере»), и различные портретные и психологические типы. Но все это объединено в очень большой цикл. У С.В.а была явная тяга и к крупномасштабности художественных образов, и просто к крупности, к большим объемам. Его лишь частично опубликованная поэма «Азь» фактически — большой роман. И параллельно проходит его интерес к числам, к численности. Это отражено в откровенных признаниях в таинственной и многозначной поэме «Киноцефалия» (1961—1964): «Число к числу — как стаи черных слуг», «Я сам — стеченье числ» (3, 591, 593). Удивительно четок С.В. в календарной сфере: во всех своих произведениях, без исключений, он ставил дату (если через какое-то время следовало исправление или добавление, то через тире ставились две даты); выше также говорилось о регулярном праздновании дня рождения. И вообще думал о времени и сроках, как сообщила вдова: «Он позаимствовал у Александра Любищева систему планирования времени. На специальных листах расписывались разноцветными чернилами недельные планы: когда писать свое — стихи, прозу, когда переводы, когда дневник (...), хотя эти планы составлялись добросовестно и аккуратно, они не выдерживались — когда приходило вдохновение, он писал часами, не глядя на то, что там у него на это время в плане. Режим дня был у него хаотический, спал часа по два несколько раз в сутки, стихи действительно писал обычно ночью...».

Противоречивость мировидения и чувств ярко отражена в его творчестве. То он пишет стихотворение «Я поэт тяжелый, что комод...» (1952—1965), то совсем противоположное: Мое не терпит естество // тугого словолитья. // Искусство — это озорство // монаха на молитве... (1963; 1, 515).

Искусство-озорство, искусство-игра — самые подходящие понятия для живого и вдумчивого поэта, и он в общем-то совсем не тяжел. Он любил парадоксы и перевертыши (один из типичных образов: «Я на себе верхом, как мелкий бес, сижу» — поэма «Царь Горох», 1976; 3, 311), и в мире, наполненном ложью, мог отчаянно перевернуть добро и зло и начать прославлять обман. Есть у него fuga «Ложь»:

Я вижу жизнь свою, гляжусь в нее, да лгу.  
Я в руки ложь беру и вру наудалую.  
А как не лгать, когда я пред собой в долгу  
и правду нравную, как девочку, балую?  
Ей самое ее вынь да положь  
на выказ. Правда — смертная кокотка,  
и от нее спасет монашка наша ложь.  
... ..  
Гоните правду, как быка, под нож!  
И счастлив человек, когда везде настанет  
одна сплошная вольнодумка Ложь  
(1973; 2, 243-244).

«А правда шипит // змеей подколодной», сказал поэт ранее («Гадание с приплясом», 1967; 2, 7). И в этом зыбком мире С.В. как бы уповаает на чудесные принципы, давно уже существующие в русском быту:

С Авосем я дружу, но Вдруг,  
пожалуй, будет еще больший друг.  
Когда вся жизнь лежит на перекосе  
и кажется, что след простыл Авося,  
когда уже до черной боли туго,  
вот тут-то, в самом пекле мук,  
приходит, разрывая чертов круг,  
подмога от невиданного Вдруга  
(1971; 2, 142).

С.В. очень любил богатые и обильные рифмы (Вдруг-друг-мук-круг), да и аллитерации, повторы согласных внутри строки (дружу, но Вдруг). Соединялось различное и сходное.

Постоянной же на всем протяжении творческого пути С.В.а оказывалась всеохватность, желание изложить даже в небольшом произведении обширный круг тем и образов. У поэта есть немало стихотворений, которые как бы нарочито демонстрируют такую универсальность:

Все те же темы музыки и слова,  
квадривий всех высоких дум.

Мы в нем, как в комнате меж четырех углами  
стопами измеряем нашу жизнь.  
Все те же темы в узкой комнатухе  
чердачного поэта-музыканта:  
я сам, природа, страсть и смерть  
(1940; 1, 275).

Начиненный дюжиной языков, С.В. часто (особенно, когда нужно было для ритма или рифмы) вводил иностранные слова. Во второй строке по количеству слогов не подходил нужный *перекресток*, и поэт заменил его латинским *quadrivium* (с русским окончанием). Значит, перекресток музыки и слова. Музыкальные темы — главные в творчестве нашего поэта. И музыкальные формы. С.В. создал 8 симфоний и множество более мелких жанров (рондо, прелюдия, вальс, месса, полька, ноктюрн, скерцо, рапсодия, соната, квартет), а также изобрел особо любимый жанр — fuga, выпустив в свет несколько десятков разнообразных фуг. Конечно, все это словесно, а не нотно. И, в главных произведениях, — размашисто, подробно, многостранично («Антигероическая симфония» занимает в 3-м томе 35 страниц, «Симфония № 5», названная «Apassionata» //, — 39). Забавно: молодая жена, увидев музыкальное обилие, откликнулась пародиями, а С.В., в свою очередь, ответил четверостишием «После Сашиних пародий на симфонии и фуги»: «Скажу я про жену мою: // пригред змею! // Еще не видели в природе // таких токсических пародий» (1979; 3, 174).

В процитированном выше стихотворении поэт перечислил четыре тематических «угла»: «я сам», природа, страсть (как бы самостоятельная, отстраненная от личности), смерть (важнейшая для С.В. тема, расширяющаяся до сфер «Бог» и «Тот свет»). Многоаспектная собственная личность — содержание всего творчества поэта. Ей посвящена громадная, творимая на протяжении почти всего зрелого жизненного пути и до сих пор еще не опубликованная, поэма «Азь» (написана по дореволюционной орфографии), обширный нервный клубок противоречивых чувств и мыслей; образ автобиографического героя то дробится («И я себе истец, видок, ответчик, судия...// С Авосем я живу и голосят со мной семья Я»), то становится перевертышем («Что сам себе и слева я и справа, // И впереди, и сзади, и вокруг»).

Многоаспектному герою также посвящен (видимо, лучшее из прозы!) роман «Ахамия». Ахам по-санскритски значит Я, так что роман можно интерпретировать как «Я и Я», как анализ раздвоенного Я. Живущий в обычном мире Я погружен в грандиозные философские построения, стремится выбраться из пространственно-временного и причинно-следственного континуумов, и ко всему этому присоединяется психушка и беседа доктора и католического священника, играющих одновременно в «причинные» шахматы (сообщаются реальные записи ходов!). Ведь шахматы — чуть ли не самая яркая игра, построенная на причинно-следственной связи (С.В. любил эту игру, у него есть хорошее стихотворение «Шахматы», 1934—1942). Пространственно-временные распады находим и в поэме «Азь»:

Пустынное пространство — набекрень  
И время на оси совсем свихнулось...

Пребывая в сложном, «свихнувшемся» мире, С.В. и свою сложную сущность воспринимал «набекрень». И во всем «сумневался», как он любил писать. Интересно, что иногда однако поэт отказывается от безумных провалов и возвращается в обычный мир:

Я начинаю нынче жить в пространстве,  
дышать чужой кипучей высотой.  
И думы поверху как облака,  
как накипь плавают.  
Какой высокий день!

(«Какой высокий день!..», 1939—1942; 1, 227. Не вспомнились ли поэту давние стихи Н.Тихонова «Мы разучились нищим подавать, // Дышать над морем высотой соленой...»?).

А каково было отношение С.В. к другим личностям? Конечно, понимал, что они очень и очень разные. В 1969 г. создал большую, почти в 30 страниц, поэму «Ян многоликий, или Поэма лица», где своим противоречивым стилем подчеркнул: «Есть лица подстать иконам, // А есть и страшней икон» (3, 624). В поэме есть 4-я глава «О многообразии лиц», но фактически вся поэма может быть так названа. Рассмотрены и социальные варианты, и психологические, «по роду страсти» (3, 605), и даже есть 8-я глава «Анатомия лица», где описаны разные виды 12 элементов лица, от «Лба» до «Подбородка» (не забыты даже «Ресницы» и «Веки» — тоже цикл получился!).

С.В. очень интересовался выдающимися личностями, оставил нам несколько десятков стихотворений о них, большинство из которых написано в первой половине жизни поэта. Они обычно серьезные, но все напряжены, ибо включают драматические сюжеты или саркастические характеристики, иногда же поэт просто иронизирует или шутит (см. ниже о «Гёте»). Больше всего стихов о русских писателях (Аввакум, Ломоносов, Державин, Крылов, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Анненский, Андрей Белый), потом — о философах (Монтень, Бэкон, Спиноза, Киркегор, Шпенглер). Оригинально — о художниках. Персональных стихотворений

только три (Босх, Кустодиев, Рерих), а еще три — об отдельных картинах-портретах: «Достоевский Перова», «Вл. Соловьев Крамского», «Ида Рубинштейн Серова», и все три поэт оживляет внесением в текст движения, динамики. «Художническая» группа, как и музыкальная, ценна соединением разных родов творчества: сделана попытка словесно описать зрительные впечатления созерцающего картины. И здесь возникают настоящие открытия. Душевно, эмоционально потрясают в «Босхе» (1969) описания страшных эпизодов адских мучений грешников. «Босх» — самое серьезное и глубокое стихотворение С.В.

Обилие мира музыки у нашего поэта, казалось, должно бы было создать обилие стихотворений о музыкантах; нет, их всего три: о Бахе, Паганини, Шопене.

Погруженность С.В. в литературу и искусство, в абстрактные философские построения может создать впечатление о его отстраненности от быта, от плоти. Ничего подобного! Стихи С.В. часто очень «материальны»; ниже мы увидим это в стихах о природе. Упомянутый «Босх» почти целиком построен на «реальных» бытовых картинах; подстать «Босху» личное «Путешествие» (1942—1961): якобы автор видит сон, что он в аду, что он проглочен Адом в виде чудовища и продвигается по его внутренностям: во рту, в желудке, потом

Кишки сжимались словно кулаки,  
кривились и самих себя давили,  
и чавкали, и норовили  
червями уползти из грешной гнили... (1, 308).

Жуткая картина!

Природа в творчестве С.В. занимает достойное место, но сразу же надо подчеркнуть, что она не совсем обычная: Месяц светит и дрожит, // тучка зимняя озябла // и наморщенная, дрябло // дряхлой тряпочкой лежит («Снег ночью», 1934—1942; 1, 121).

Мы почти не найдем у С.В. романтических и гармоничных описаний природы, обычно она полна какого-то беспорядка (да и беспорядочности!), грязи... В одном программном стихотворении поэт приводит в качестве эпиграфа знаменитые строки Гёте: „Wie herrlich leuchtet || Mir die Natur!..“ (Как великолепно светит мне природа!) и далее противопоставляет свое видение: Разве я пойму, природа, // твой бедлам, // где с водою время года // пополам? <...> Целый месяц ты месила // грязь да снег, // и на ветер выносила // сплетни рек... (1934—1942; 1, 118-119).

Но есть описания природы и совсем с положительным знаком. Много лет пробыв в сибирской тайге, С.В. полюбил ее:

Сибирь мохнатая! Во сны твои дремучие,  
как в шубу из огромных ласк медвежьих,  
я погружен. Меня, ничуть не мучая,  
качаешь на глубокоснежных.  
Недурно мне живется, естся, пьется, едется...  
(1943—1962; 1, 358).

Болезненно переживал варварское истребление таежных угодий, написал об этом «Сибирскую элегию» (1965; 1, 557-558). Но отношение поэта к великой тайге было очень сложным (см., например, «Тайга», 1939—1942).

Любил С.В. цветы и грибы, недаром написал о них целые циклы. О белом грибе он сочинил настоящий дифирамб!

Природа очень часто выступает у нашего поэта в очеловеченном виде; склонный к чувственности, С.В. сочинил «NUPITIAE MARIS» (Свадьба моря): Море в бесстыжей бравате // приподнимает чуть-чуть, // Будто на брачной кровати, // пенную спину и грудь... (1940; 1, 263).

И далее следуют эротические картины.

Вольно обращаясь с природой, С.В. чувствовал себя не сельским, а городским жителем; однажды прямо признался:

Мне скромный камень дерева милее:  
он не шумит и не растет,  
он медленно молчит, к сознанию тяготея,  
скатившись некогда с высот.  
Я жизни не рубил с упорством дровосека,  
я медленно вошел в непроходимый сон.  
Я каменщик. И, может быть, два века  
тому назад я был мason.  
(«Камень», 1934; 1, 117).  
(«Мason» ведь по-французски означает «каменщик»).

С.В. написал целую оду старому Таллинну:

Трепещет, как пятнистый парус, Таллинн,  
И камни стали, словно на холсте.

... ..

Я в старом Таллинне хожу по камни,  
как ходят в старый бор по крепкие грибы  
(«Старый город», 1973; 2, 273-274).

Есть стихотворения у С.В. о Москве, побольше их о Новгороде, несколько десятков — о Ленинграде-Петербурге. Москву представлял очень негативно (к двум другим отнесся более сложно, об этом ниже):

Ох, и противно в Москве проживать!  
лучше в избенке сидеть с лучинкой,  
нежели полжизни с утра жевать  
улицы с человечьей начинкой.

... ..

Ты живешь, государыня Москва,  
с каждым годом все разливаннее,  
и число москвичей твоих — ква-ква-ква! —  
доросло до точки блевания  
(«Неделя в Москве», 1979; 2, 496).

И как-то несерьезно отнесся к храму Василия Блаженного:

Юродивый собор о девяти шатрах  
на площадь прыгнул, как щегол иль чирик...

... ..

Не Сатана ли строил сей собор,  
Приняв обличье Постника и Бармы?  
(«Василий Блаженный», 1980; 2, 543-544).

Нужно учесть, что в конце жизни городской С.В. вообще стал очень враждебно относиться к мегаполису: Многоэтажные возникли из земли, // при них железные шагают журавли, // как постовые милиционеры. // Висит над ними небо из фанеры. // И, мимо проходя, берет меня за ворот // бетонной лапой почти бездонный город. // И я живу, как тень, с унылого утра // во граде сумасшедшего Петра. // И по каналам с самого рассвета // текут жуки какого хочешь цвета. // Они летят то молча, то брэнча, // как смерть с гитарой или саранча. (1980; 2, 530-531).

И даже в совсем не урбанистических стихах С.В. возникали негативные питерские картины:

Течет Нева простором нелюдским.

... ..

А петербургская зима поет  
по-блоковски и по-кабацки  
(фуга «Рерих», 1980; 2, 539-540).

Любопытно, что в своеобразном завещании («Надгробие», 1940—1947) С.В. просит похоронить его не в городе:

Когда умру, оплачь меня  
слезами ржи и ячменя.  
Прикрой меня словами лжи  
и спать под землю уложи.

... ..

Когда умру, упрячь меня  
под песни ржи и ячменя,  
чтоб вяз свой воз зеленый вез,  
чтоб, наливаясь, рос овес,  
отборным плачучи зерном  
по ветре буйном, озорном... (1, 254).

Заметим, что человек у С.В. оказывается сильнее природы, особенно, если это великий человек. Вот начало стихотворения «Гёте» (1933—1941):

По саду растрепанный Гёте  
бежит, распахнув камзол.  
Как полная бури зеленая ветка,  
он машет свирепой тростью  
и, небо схватив за загривок,  
с собой волочѣт в луга.  
И там, разметавши копны  
семейного свежего сена,  
и там, растолкав деревья  
и камнем пустив в горизонт,  
ложится он с томом Спинозы  
и, ноги задравши в небо,  
глядит, словно сам Создатель,  
на разворóченный мир... (1, 38).

(Простим поэту этот вольный образ: конечно, себя суетного отождествлял с Гёте). Что-то подобное в отношении к природе мы видим в «Похвальном слове Ломоносову» (1934—1942): сам был сыном Природы, но могуче восстал как человек Науки. Интересно, что противопоставление Природа — Человек у С.В. обычно переходило в Природа — Наука. Есть специальная «Научная прогулка» (1940—1948), где действуют три персонажа: «прелестная» Наука катит на велосипеде, Природа, «соломенная вдова», «идет неторопясь», но самое сильное впечатление от третьего участника:

В лаптях, бедой истоптанных,  
подвязанных веревочкой,  
с удавленника снятой,  
... ..  
плетется босоногая  
калика переходящая  
с поломанною палочкой,  
ко всем местам паломница,  
разбойница и грешница —  
смирительница Смерть. (1, 275).

Вообще, Смерть — частый гость в стихах С.В. Даже у молодого. Но тогда она могла появляться или как чужая, или как спутница Любви (старое, с античных времен соединение!):

Так в вихре губ лови  
предсмертное дыханье,  
слетевший лист любви  
и страсти восклицанье! «Вальс», 1934—1936; 1, 141).

А потом отношение к Смерти станет очень серьезным, и, конечно, резко отрицательным (но и жизнелюбия нет!): Я ненавижу смерть, и жизни не люблю («Я ненавижу смерть. Ну а за что?..», 1940—1947; 1, 269).

С.В. тяжело пережил смерть сына, написал трагические «Реквием» и «Кладбище» (1972); да он постоянно думал и о своей кончине, неоднократно возвращался к этой теме в стихах. Писал сложно, иногда даже трудно объяснимо:

Я, словно время, сам бесстрашный часокрад.  
Авось и не беда, что думаю я бренно!  
Не встречу смело смерть, как палача Сократ.  
Да нужно ли и жить, чтоб умереть смиренно?  
(1964; 3, 65).

Перед четверостишьем стоит эпитафия из Рильке: «Du sagtest <...> *Leben laut und Sterben leise*». С.В. перевел его в стихах, потому неточно: «И было сказано в Твоем Законе: // жить нужно вслух, а умирать молчком»; Рильке же противопоставляет *громко* и *тихо*. Так что наш поэт — за громкую жизнь и за громкую смерть? Возможно. Но к концу жизни он стал значительно спокойнее:

Молюсь за мир, за древнюю культуру,  
за веру предков, аки Аввакум...

... ..

Прости же, Боже, страстного невера,  
помилуй, Господи, неверного Фому!  
Молюсь за мир. А мне смешно и страшно.  
Авось и смерть мне видится смешной,  
и я вкушаю праздничное брашно  
и запиваю смертной тишиной  
(«Новая Рождественская fuga», 25 дек. 1980; 2, 549).

И самое главное — к концу жизни уверовал в свое бессмертье. Вначале в традиционном „Mir zum Feier” сказал о бессмертии поэта:

И сегодня, когда мне стукнуло  
семьдесят два,  
я повторяю упрямо,  
что я как поэт бессмертен,  
ибо я родился в Благовещенье. (1983; 2, 569-570).

А полгода спустя заявил о всей личности:

Все думаю о том, как я умру,  
подхваченный великой лихвертью,  
воспринимая смерть как жуткую игру,  
за коей следует мой путь к бессмертью.

... ..

Моя злочастная бессмертная душа  
и после смерти ухитрится  
все повторить, сумнение глуша,  
и жизнь моя посмертно повторится  
(«Бессмертие», 1983; 2, 570).

Серьезной и часто вспоминаемой Смерть становится еще и потому, что она оказывается прерогативой Бога:

Но, Боже, боязно с Тобою нам обоим,  
Что мы себя столь беспощадно строим  
И что впадаем в смерть, как в бесноватый грех  
(«Псалом», 1942—1962; 1, 335).

Однако авторское Я здесь приближено к Богу и как бы тоже принимает на себя ответственность за Жизнь и Смерть. Приближение к Богу — обычное для С.В. состояние на протяжении почти всего творческого пути. Начинать свой путь поэт даже — неловко сказать — с сотворения Бога!

Стругая горы и равня реки,  
порой ругаясь и грубя,  
я с маху опускал на мир шумливый веки, —  
так топорами машут дровосеки, —  
Господь мой Бог, я мастерил Тебя. (1934—1936; 1, 110).

Правда, в следующих строках как будто бы идет речь об истории, о раннем периоде, когда народ еще был языческим и вытесывал себе истуканов, но приближение авторского Я к Богу происходит как бы вне исторического времени. И такое приближение, конечно, очень возвышает человека, что и нравится поэту, и совестливо волнует; юмором, перевертышами, даже грубостями он пытается как-то снизить пафос, иногда доходя даже до морального и эстетического промаха:

Я — город по прозванью Самоград,  
и все же я себе не свой же брат.  
Я — город в час дневного затемненья,  
и спьяна изблевал меня Господь,  
и доживаю я в благой тени сумненья

свою скрипучую сверхплоть  
(«Самоград», 1979; 2, 513).

Но С.В. был очень разный в разные периоды по своему отношению к Богу. Относительно свободный и уверенный в ранний период, во время Великой Отечественной войны он мог «опускаться» до кеносиса, до сильного самоумаления: Друже и покровитель, // Сергию Радонежский, буди мне заступник // перед миром Божьим... <...> Аз есмь червь ничтожный, // былие, тростинка, трепещущая смиренно // от ветерочка Господня... («Молитва», 1943; 1, 348).

Потом опять начиналось «самовозвышение» («А как же, Боже, Ты? Ты льстиво многолистен. // Так не боишься ли меня? Се — Аз» — «Бог», 1945—1965; 1, 375). На этом пути были оригинальные отклонения. То вдруг снова «опускал» себя, да и Бога заодно: У меня ведь никогда не водилось огромного, неотесанного, яростного, всепожирающего, всеповергающего // Бога, а только нежные боженятки, разные паскальчики, монтеятки, мандельштамишки, // имя же им — легион! Милые мальчики, // почти сыночки... („Mir zur Feier”, 1955; 1, 417).

А в связи с началом космической эры у С.В. произошло парадоксальное ослабление интересов к проблемам Бога и Смерти:

В дугу согнулся лазурный луг.  
Грозит ракета, разинув люк.  
С наземной тварью я не владу,  
свое же тело с собой кладу.  
Рванулся выстрел. Раздался свет.  
Я жизнь убыстрил. А смерти нет. (1961; 3, 60).

Потом он мог по-Аввакумовски (таков эпитафия) впасть в кеносис: «Аз есмь, помилуй Господи, ничто» («Ничто», 1971; 2, 133) или проповедовать буддизм: «Убей себя в себе и стань никем, // покуда ты в ничто не обратился» («Буддическое», 1965—1967; 3, 78).

В последние десятилетия жизни С.В. пришел к более спокойному статусу верующего человека, но все-таки природное озорство не покидало его: мог обожествовать своего любимого Авося («Авось — брательник мой и Бог-Отец» — «Последняя fuga», 1981; 2, 562) или написать большую поэму «Книга жалоб» (1980), где обошелся с Богом очень уж панибратски:

Ты, Господи, — нещадный обирала,  
и Ты презришь скулящего раба,  
но пуще Божьей правды привирала  
мне богоданная судьба... (3, 626).

Но все-таки главное озорство и панибратство мы найдем в громадной фуге «Бог» (1976—1977):

Я — Бог, раскиданный налево и направо,  
я — Бог, качающийся взад-вперед,  
я — Бог, которого никто не разберет,  
ибо я Бог без правды и без права...  
... ..  
семь глав, как семь пастей прожорливых, разинув,  
чудовище мое, Богов всебалаганный Бог! (2,435-436).

Даже в отношениях с Богом С.В. не мог избежать своих перевертышей и театра! Разбросанность, раздробленность тем и интенций в значительной степени мешала выработке необходимой большому поэту глубокой цельности мировоззрения.

Отношение С.В. к истории, отечественной и всеобщей, было тоже всегда непростым: видел много трагического и страшного в ней, видел лживое официальное истолкование ее... И как-то обобщил свои представления и чувства: Люблю тебя, история, // за ложь в душе веков, // за вигов, и за ториев, // и за большевиков. // К чему твое учительство? // Бесплодно все равно! // Ты словно вид на жительство, // просроченный давно. (1970; 2, 113-114).

В ранний период С.В. почти ничего не написал на исторические темы. Да и к современности он относился странно: в его стихах довоенных лет мы не найдем ни слова об убийстве Кирова, об Испании, о страшных процессах 1937—1938 гг. Еще более странно молчание о Великой Отечественной войне. Впрочем, не совсем молчание: в отдельных стихотворениях ее дыхание все же проявлено. Но как будто бы она бушует где-то за морями, за долами, как представляется по тексту „Bellum omnium contra omnes” (1941—1959; Война всех против всех, лат.):

В бою неведомом разбит,  
угрюмый броненосец серый  
на берегу пустынном спит,  
как некий зверь не нашей эры.

... ..

Зверь предвкушает свой конец,  
а где-то, словно антитеза,  
гремят разгневанный свинец  
и разъяренное железо. (1, 299-300).

Подобные вкрапления в громадную массу Петровских стихов как бы случайны: Золотые обручи гоняет// солнце по дороге... <...> // и встречаются весна и смерть. (3, 38).

Или: Какой опрометчивый ум // заране Европе решит, // как будет хитро перешит // ее многоцветный костюм, // в котором ей, нищей, гулять // и долгие дни щеголять? (1942; 3, 42).

Особенно молчалив был поэт в передаче личных чувств по отношению к Великой войне. Кажется, вот единственный штрих: «... не кляню судьбу цепную, // не сбегу за рубежи...» («Соль земли», 1943—1962; 1, 356) — дескать, я узник, но я вместе со своей землей...

Отметим однако — за сутки до Дня Победы С.В. написал сильное четверостишие:

История — не ряд бездушных дат  
и не парад имен, великих делом,  
а на клочки разорванный солдат  
и детский рев в жилище опустелом.  
(7 мая 1945; 3, 49).

Чем объяснить такое уклонение от участия поэта-патриота в общенародном деле? Вероятно, презрением к лживым восклицаниям и страхом перед разоблачением истинных чувств. Ведь незадолго до кончины, совсем в новой цензурной атмосфере, С.В. откровенно рассказал о своем истинном отношении к XX веку: он сочинил продолжение известного «Потока-богатыря» графа А.К. Толстого — «Тот же Поток-богатырь» (1977). Герой видит мятеж на Руси: «... скачут с рожей уродской // все какие-то Врангель и Троцкий» (2, 438); потом как будто бы стало хорошо, но не надолго:

Пробудился Поток, видит — что-то не так!  
Волокут всё кого-то солдаты,  
как тьма тем умножается призрачный враг  
и растут на Руси казематы.  
И усатый какой-то бесчинствует хан:  
он от крови народной и весел, и пьян,  
как отец он трудящихся любит  
и отечески головы рубит.

... ..

Но недолго детинушка нежилась тут,  
и представилась взору картина,  
как друг дружке ручища кровавые жмут  
два отъявленных сукина сына.  
И, навьютяжку встав, простодушный народ  
по команде «ура!» от восторга орет.  
И полезли названные братцы  
смертным боем безжалостно драться.  
Поток тут же бросается в битву.  
Ранен был и контужен Михайло Поток  
И, сконфужен, во вражеский госпиталь лег.  
А за раны воителю дали  
Десять лет и четыре медали... (2, 440-441).

Вот как размахнулся С.В.! Сравнив Сталина с Гитлером, он уклонился от рассказа о *Великой Отечественной* войне, о войне народа за свою Отчизну. Правда, Поток, вступая в битву, спрашивает: «Но при чем, // не пойму, эти сукины дети?» (2, 440). Однако вопрос повисает неотвеченным.

В послевоенное время С.В. много пишет стихов о конкретных городах и о конкретных объектах внутри городов, затрагивая и исторические темы. Собственно говоря, группа стихотворений о Великом Новгороде более относится к истории, чем к архитектуре или географии. Здесь — это редко у С.В.! — проявилась глубокая любовь к родному краю и даже создалась ода русскому человеку: Огромн, кражист и плечист, // ты

напрягаешь шею бычьью, душою прост и телом чист // и предан русскому величью. Ты грудью настезь, напролом, // угрюмый, дюжий, добрый, ражий мужик, напяливший шелом // и ставший у судеб на страже («Иван на Опоках», 1955; 1, 426).

Но поэт скорбит по поводу исторических несчастий Новгорода и как бы хоронит эту великую историю:

От сыновей больших и шальных  
ушел ты в жалобную тишь  
и на соломе с глиной, жалок,  
что князь замученный, лежишь.  
Увы! Не снять мертвецких пленок  
с безумных ослепленных глаз.  
Ты — усыпленный мой цыпленок,  
усопшей вечности рассказ.  
«Новгороду Великому», 1955—1966; 1, 426-427).

О Ленинграде-Петербурге он пишет значительно более разнолико. Много в родном городе ему не нравится:

В корыте каменном весь день валялась Мойка.  
Развешен воздух с видом грязного белья  
по тополям. Петровская постройка  
стоит на плоскости болотной бытия.  
А лето мается в ленивой мыльной пене,  
злачная нуга небесный ситец шьет.  
И пар из прачечной, подобен тяжкой тени,  
Валит и клубьями Исакий обдает (1934—1941; 1, 106).

Отношение к Петру всегда негативное («... от медного болвана на скале...» — 2, 349), Петр построил город на крестьянских костях:

Прыгнул, вытягиваясь в рост,  
с берега на берег хищный мост...  
... ..  
Что ж караулит он в тишине?  
Кости да горькую тину на дне.  
Дремлется, и проезжают во сне  
грохот и дрожь по чугунной спине.  
Спит, нахлебавшись горя, Нева  
и пузыри пускает едва. (1939—1945; 1, 235-236).

Но Ленинград-Петербург пробуждал в С.В. и другие чувства и мысли, особенно — местный патриотизм, перераставший в общерусский:

Во имя Троицы ставлен сей собор  
за то, что русская свалила сила  
турецкую твердыню Измаила  
и привезла чугунных пушек хор.  
Собор стоит как памятник с тех пор  
суровому Суворову...  
(«Троицкий собор», 1981; 2, 557).

Особенно люб поэту Исаакиевский собор:

Через Неву увидит всякий,  
кто лишь захочет посмотреть:  
из зелени валит Исакий,  
как позолоченный медведь.  
И хватит силищи у мишки,  
чтобы орлинокрылый Рим  
подмять... (1976; 2, 409).

С.В. даже сказку сочинил про собор, представив его в виде Головы из пушкинской поэмы о Руслане, владеющей волшебным мечом, а сам богатырь здесь мчится в Питер:

Бог весть из каких-то далеких и сказочных стран,  
презрев и леса, и поля, и неверное море,  
летит к Петербургу лихим репортером Руслан,  
вися, как балласт, на запущенном в ход Черноморе...

... ..

...и так же под царственным шлемом стоит голова,  
и, мнится, вот-вот приподнимет гранитные веки  
(«Исаакиевский собор.  
Четверть баллады», 1976; 2, 412).

Кого же будет крушить Руслан волшебным мечом, С.В. не успел рассказать...

Большое место в творческом наследии поэта занимает интимная, любовная лирика. В ранние времена она может быть очень природной и весомой:

Бесшумный поворот торжественного сада,  
деревья наклоняются в ручей.  
Боюсь запутаться в прекрасных дебрях взгляда  
и в тьме египетской твоих очей  
(«Весь сумрак вечера навеки пережит...»,  
1934—1936; 1, 138-139).

Чувствовалась уверенность мужчины:

Откинь раздумья, как челку,  
рукой проведи по ним.  
Поедем с тобой хоть к черту,  
но лишь остаться одним... (1944—1965; 1, 368).

Но пришли и колебания:  
Не знаю, право, как и быть,  
любить или нет? — не знаю.  
Хочу желанье погубить  
и снова начинаю... (1943—1963; 1, 352).

Появились зародыши знаменитого противостояния, идущего от античного Катуллы (*amo et odi*): одновременно люблю и ненавижу! —

Что бы ты ни говорила — // мне, будто для врага, // зелье по книге варила // чертова баба-Яга. // Чару  
попыни с перцем // молча пью и скорблю. // И сжатым в кулак сердцем, // стиснув зубы, — люблю (1943; 1,  
348).

В 1945 г. С.В. женился, но семейная жизнь плохо сложилась, как уже сказано; в стихах отражены зигзаги тяжелых чувств мужа: от желания разойтись до унылого согласия продолжать грустный статус-кво: С Новым годом! С новым горем! // С новой радостью! С тобой! — спорим, миримся и вздорим, // и живем наперебой. Друг у друга отторгая // благо, все же не бежим. С новым годом, дорогая, // не родным и не чужим («Елене», 1 янв. 1967; 3, 83-84).

Попутно С.В. увлекался другими женщинами, сообщал об этом даже цинично: «Пошли! Какая разница, // с тобой или с другой!» («По дороге в Таллинн», 1966; 1, 589). Еще больше в те годы всплывало катулловское *amo et odi*: «... но ты по-прежнему прекрасна, // моя возлюбленная дрянь» («Мы не встречались больше года...», 1960; 1, 487). Иногда и совсем недопустимые словечки вставлялись (см., например, «Набежала разлука...», 1973; 2, 237-238). В 1966 г. (как видно по датировкам) полюбил почти ученицу, выпускницу английского отделения филфака: «И навязчива, // и прилипчива, // и ознобчива, // и приманчива, // лихоманка ты, // как и музыка» («Вы не женщина...», 1966; 1, 593-594). А в 1974 г. создано восьмистишие, которое как бы относится к этой истории: Боялась ты любовь развить, // себя схватила в руки, еще не зная, как язвить // способно зло разлуки. Любить и через восемь лет — // не признак постоянства, Не верность нежная, о нет, // а нечто вроде пьянства (3, 129).

А к кому тогда отнести ценное стихотворение 1972 года (подаренное мне, спасибо, А.А.Петровой — оно не вошло в 3 тома): «Сказала, правды не тая, // сказала, как рожая, что ты уж больше не моя, // хотя не чужая. Своей утратой владеть // я буду долго-долго. В любовь нельзя себя одеть // даже из чувства долга. И не попишешь ничего, // да и не надо, ибо За щедрость сердца твоего, // за все тебе спасибо».

О ком это? О молодой любви или о жене Елене? Так мы и не узнаем... Последующие годы С.В. вел себя довольно легкомысленно для своего пенсионного возраста: Я с одною полюбился // на тридцатом этаже, Ну, и

кой чего добился // на последнем рубеже. А потом нашел другую // на тридцатой глубине — И не очень дорогую // и как раз по мерке мне («Футурологическая песенка», 24 марта 1976; 2, 416-417).

24 марта! А 17 апреля 1976 г. поэт почувствовал какой-то важный рубеж:

Стучится время. Двери на запор вы  
от времени, как будто от меня.  
А я стою у пропасти, у прорвы,  
не отменив из прошлого ни дня.  
Я день держу. Мычит, как стадо, вечность,  
за ним бегут разини-пастухи.  
И всё — как в прорву — грусть и человечность,  
любовь и верность, письма и стихи (2, 417).

Потом в ночь с 30 апреля по 1 мая появится романс «Грустная любовь»... Все эти этапы как будто бы мистически подготавливали первое свидание С.В. с Александрой Александровной 5 мая 1976 г., в корне изменившее всю его жизнь. Он это сразу понял, именно 5 мая, при первом свидании, так как 7 мая он написал поразительное стихотворение якобы про Фета (сюжет нереальный): Жил был поэт // с фатовой фамилией Фет, с бородищею муравьиной // и с ночью соловьиной. Жил он себе тихонько, // Афонькин сын Афонька. и дожил этот самый Фет // до семидесяти двух лет, и тогда — о прелестные сплетни! — // помер он — такова селяви! — от слишком большой любви // к восемнадцатилетней. И улеся в земле сырой // павший смертью храбрых герой (2, 421).

В этих шуточных строках ярко отразился весь сложный клубок чувств: взорвавшая старика любовь и страх за свой возраст, за самочувствие; но все это окрашено юмором!

В последующие 12 лет любовная лирика С.В. возвышенна и серьезна, хотя он и свои перевертыши не забывал: В неравном браке падши — // вот он, неравный брак! — Была ты вдвое младше. // Теперь уже не так. <...> Поймешь ли ты идею, // о дева красоты, что я все молодею, // когда стареешь ты («На день рождения», 1 ноября 1977; 2, 472).

Но все-таки тревога за недолговечность счастья не оставляла поэта:

Вот пришла и обняла любовь!  
Только поздно, поздно, слишком поздно  
(«Поздно», fuga, 1976; 2, 444).

И особенно обнаженно сказал об этом в стихотворении «Под страхом счастья я теперь живу...» (1977; 2, 472-473).

Но в дальнейшем тревога как-то утихает, и остается только романтическая (и королевская!) возвышенность: На холсте не грохот оды, // и является на портрете дама габсбургской породы, // восседающая в менюэте («Рондо на портрет жены», 1978; 3, 161).

Словесно описывать художественные картины С.В. любил всегда, но романтическая вдохновенная положительность и в предшествующие периоды — исключительное явление. В качестве такового можно назвать необычное стихотворение о «русской мадонне» (как можно его именовать): Дочурку чудную баюкая // мечтательно и в прах и в пух, тысячегрудая, сторукая // стоишь под завистью старух. Блестишь здоровьем в палисаднике, // свежа, как утренний надой, и за тобою день на заднике // написан краской молодой. На нем в воздушной пене мылятся // пеленки или облака, и ты сияешь, мать-кормилица, // слепой бутылью молока (1965—1967; 3, 201).

«Рондо на портрет жены» тоже исключительно, но уже на высоком духовном уровне.

Следует учесть, что в последний семейный период изменилась не только любовная лирика С.В., но и все его наследие. Видимо, Александра Александровна — выдающаяся домохозяйка, если в последние 12 лет у С.В. появились совершенно новые циклы — «Книга грибов» (1977—1980) и, особенно, «Книга яств» (1978): «Щи», «Почки по-русски», «Блины», «Окрошка», «Цветная капуста в сухарях», «Борщ с сосисками», «Кулебяка», «Малиновый кисель». Много «плотоядного» и в обычных стихах поэта. Но что особенно заметно — увеличение музыкальных тем и количества специальных музыкальных произведений. Ведь все 8 симфоний созданы в последний период. Тоже, видимо, воздействие Александры Александровны. Недаром, она писала пародию на музыкальные тексты мужа.

В заключение надо хотя бы кратко сказать о выдающейся переводческой деятельности С.В. Она и по объему, и по ценности почти сравнивается с оригинальным творчеством. «Википедия» перечисляет главных поэтов, которых переводил С.В., а потом дает общий список переводимых, который просто поражает: «Райнер Мария Рильке, Болеслав Лесьмян, Стефан Малларме, Карл Микаэль Бельман. Переводил поэзию, прозу и драматургию с английского (Р.Бернс, В.Скотт, Дж.Г.Байрон), немецкого (Г.Сакс, Ф.Гёльдерлин, Г.Гейне, М.Даутендей), шведского (Э.Тегнер, Ю.Вексель, Н.Ферлин, Я.Гульберг), датского (А.Г.Эленшлегер, С.Кьеркегор, Е.П.Якобсен), норвежского (Б.Бьёрнсон, П.Сивле), исландского (скальды, Хьяульмар Боульский, М.Йохумссон), французского (К.Маро, Т.Готье, Ш.Леконт де Лиль, Ш.Бодлер, А.Казалис, П.Верлен, Р. де Монтескью-Фозансак, П.Валери), испанского (Ф. де Кеведо), польского (М.Семп Шажинский, Д.Наборовский,

Ю.Словацкий, Я.Каспрович, Л.Рыдель, С.Выспянский), латышского (Я.Райнис) и др.». Причем, все эти переводы — с подлинников, а не с подстрочников!

Из всего переводческого наследия выделяется книга Рильке «Часослов» в трех томах (по-немецки „Das Stunden-Buch”). Рильке хотел передать чувства и молитвы русского монаха, поэтому книга была очень дорога С.В., и он постарался как можно точнее передать именно «русский дух». Приведу для примера начало 11-го стихотворения 1-го тома.

Du Dunkelheit, aus der ich stamme,  
ich liebe dich mehr als die Flamme,  
welche die Welt begrenzt,  
indem sie glänzt  
für irgend eines Kreis,  
aus dem heraus kein Wesen von ihr weiß...

Буквальный перевод: Ты — темнота, из чего я произошел, я люблю тебя больше, чем пламя, которое ограничивает мир, где оно блистает только для некоего круга, из чего им наружу никакая сущность не выпустится.

И вот перевод С.В.:

Праматерь Тьма, ты родила меня!  
Люблю тебя больше пламени,  
межой оцепившего свет,  
откуда нет  
исхода, ибо он — западня  
всей твари сущей, сей круг огня...

Конечно, Тьма, да еще Праматерь, звучит куда более сильно чем обычное слово Dunkelheit. Заметим также, что неточно переведенные *межа, западня, тварь* — очень «русские» слова. Некоторые специалисты даже упрекали С.В. в чрезмерной руссификации стиля и лексики перевода, особенно — в чрезмерности использования просторечия. На эту тему в популярном ежегоднике «Мастерство перевода» (1965) возникла целая полемика вокруг перевода С.В. романа датского писателя Й.П.Якобсена «Фру Мария Груббе» (1962). С.В. в своих теоретических статьях «О пользе просторечия» («Мастерство перевода», 1962), «Об уравнивании коэффициентов импрессии и экспрессии в языке художественного перевода» («Актуальные проблемы теории художественного перевода», т. 2, 1967), «Как переводить с ланнсмола?» («Мастерство перевода», 1981) подробно объясняет свою позицию, а в многочисленных переводах демонстрирует ее практическое применение. С.В. как теоретик и практик художественного перевода еще ждет своих исследователей. Впрочем, ждет своего обстоятельного исследования и оригинальное творчество С.В.Петрова.

1. Петров С.В. Избранные стихотворения / Сост. А.Петровой и В.Шубинского. СПб.: ЭЗРО, 1997. 159 с.
2. Петров С.В. Собрание стихотворений / Сост. А.Петровой и В.Резвого; послесл. Е.Витковского. М.: Водолей Publishers, 2008. Кн. 1: 616 с.; Кн. 2: 640 с.
3. Петров С.В. Собрание стихотворений: Неизданное / Сост. А.Петровой и В.Резвого. М.: Водолей, 2011. 688 с.

#### References

1. Petrov S.V. Izbrannye stikhotvoreniya [Selected poetry]. Saint Petersburg, 1997. 159 p.
2. Petrov S.V. Sbranie stikhotvoreniy [Collection of poems]. Moscow, 2008. Vol. 1: 616 p.; Vol. 2: 640 p.
3. Petrov S.V. Sbranie stikhotvoreniy: Neizdannoe [Collected Poems. The unpublished]. Moscow, 2011. 688 p.

**Egorov B.F. About the life and creativity of S.V.Petrov.** The unusual life of Sergey Vladimirovich Petrov and his diverse work is considered. A lover of literature and art, an inspired thinker, a person of encyclopaedic knowledge, he also liked the ordinary life in all its aspects. His verses evoke very deep and strong feelings and stimulate profound reflection on philosophical concept. “Art-mischief”, “art-play” are the most suitable concepts for a bright and thoughtful poet who loved paradoxes and play on words. S.V.Petrov was a talented translator from many European languages, working not with word-per-word translations, but with sources. Further study of the Petrov's creativity is still required.

**Keywords:** Sergey Vladimirovich Petrov, verses, nature, the world, history, translation practice

Сведения об авторе. Б.Ф.Егоров — доктор филологических наук, профессор, главный научный сотрудник-консультант Института истории РАН (Санкт-Петербург), borfed@mail.ru.

Статья публикуется впервые. Поступила в редакцию 15.10.2018.